

ИЗ ПРОШЛОГО. ЗАПИСКИ НЕКРАСОВОВЕДА (1902-1921)

ПУБЛИКАЦИЯ Т. С. ЦАРЬКОВОЙ

Первая часть книги "Из прошлого. Записки некрасововеда" была закончена автором в 1940 г. В следующем году началась публикация "Записок некрасововеда" в журнале "Звезда" (1941, No 4). Ее прервала война. С небольшими сокращениями были напечатаны только первые четыре главы. В них Владислав Евгеньевич рассказывал о своем знакомстве со стихами Некрасова в детстве, о роли отца в воспитании у него интереса к русской литературе, о годах учения в С.-Петербургском университете, о встречах с Блоком.

Обрывается публикация в "Звезде" эпизодом "подневольного отъезда" в 1908 г. из Царского Села, где В. Е. Максимов занимал место учителя русского языка и словесности в реальном училище. Поводом для увольнения со службы и высылки послужило чтение лекций о Некрасове в рабочей и студенческой аудиториях. Возобновились занятия исследователя поэзией Некрасова только в 1912 г. С событий, относящихся к этому времени, и начинается V глава.

Настоящая публикация (главы V--XI) открывается кратким авторским вступлением ко всей книге - "Вместо введения", которое ранее не печаталось. Упомянутая в нем вторая часть "Записок некрасововеда" не была написана, до нас дошел лишь ее план, который будет опубликован после заключительных глав первой части (главы XII--XV), в следующем выпуске "Некрасовского сборника".

Машинопись воспоминаний В. Е. Евгеньева-Максимова в настоящее время находится в архиве ученого, хранящемся в Музее-квартире Н. А. Некрасова в Ленинграде. Там же собраны письма к Евгеньеву-Максимову и письма-ответы на анкету о Некрасове, проводившуюся журналом "Жизнь для всех", которые цитируются в "Записках некрасововеда".

Книга В. Е. Евгеньева-Максимова представляет несомненный интерес как документальное свидетельство о времени становления советского некрасоведения одного из основоположателей этой области в литературоведении.

Печатаются воспоминания с незначительными сокращениями.

ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ

Естественно и законно, когда большие люди пишут воспоминания о себе, о своей жизни и деятельности. Я не принадлежу к большим людям. Значит ли это, что я не должен писать воспоминания?

Нет, не значит!

Будучи средним человеком, сорок лет своей жизни я отдал, однако, большому делу - изучению и популяризации того поэта, который общим голосом многомиллионных масс сопричислен ныне к лику великих народных поэтов нашей страны. Эта сторона моей деятельности, думается, не лишена и литературного и общественного интереса. Ей-то и посвящены мои воспоминания, охватывающие лишь первую половину моего некрасововедческого пути - двадцатилетие от 1902 до 1921 г.

Быть может, у меня хватит сил и умения написать воспоминания и о втором двадцатилетии моей работы по Некрасову. Но для этого покамест еще не пришло время: трудно писать воспоминания о том, что еще не окончательно отошло в прошлое.

В предлагаемой вниманию читателей работе я пытаюсь соединить два элемента - повествовательно-мемуарный с документальным. Документы, которые я цитирую, это по большей части письма ко мне различных лиц.

Решаясь напечатать свои воспоминания, испытываю и колебания и смущение: я писал и печатал очень много, но в таком роде не писал и не печатал ничего.

V

Конец 1911 и начало 1912 г. у меня ушли на работу по составлению учебника по истории русской литературы, предложенную мне киевским издательством "Сотрудник". Я взялся за нее не только потому, что в качестве педагога средней школы крайне ощущал отсутствие сколько-нибудь удовлетворительного учебника из числа апробированных Министерством народного просвещения, но и потому, что надеялся с его помощью укрепить свой все еще испытывавший значительные колебания бюджет. Затем мне во что бы то ни стало хотелось ввести в школьный обиход поэзию Некрасова. И действительно, в составе моей книги (Максимов В. Е. Очерки по истории русской литературы 40--60-х годов. СПб., 1912) Некрасову был отведен не один десяток страниц. Книга имела хорошую прессу, но в качестве учебника для средней школы была забракована Ученым комитетом Министерства народного просвещения, усмотревшим в ней политическое вольномыслие.

Зимой 1912 г., когда в литературных кругах вспомнили о приближающемся тридцатипятилетию кончины Некрасова, редакция журнала "Заветы", основанного очень недавно, но уже вызвавшего общий интерес сочетанием левонароднических тенденций своего политического отдела с ультрасимволистским, иначе говоря, ультраиндивидуалистическим, направлением своей беллетристики, обратилась ко мне с предложением дать для декабрьского номера статью о Некрасове.

Я охотно принял это предложение, более того в известной мере был польщен им, ибо мне еще не приходилось печататься в толстых литературно-политических журналах. {В журналах специального характера я печатался уже давно. Еще до революции 1905 г. несколько моих статей об общественных работах как средстве борьбы с последствиями неурожая появились в журнале проф. Ходского "Народное хозяйство" и журнале проф. Дерюжинского "Трудовая помощь". Эти статьи с присоединением нескольких других составили мою первую книгу "Очерки общественных работ в России" (1905 г.), за которую я получил премию на конкурсе сочинений по благотворительности и трудовой помощи. (Примеч. В. Е. Евгеньева-Максимова).} Предложение это передал мне очень популярный в те времена писатель, в котором многие видели преемника Н. К. Михайловского, - Р. В. Иванов-Разумник. Здесь я должен отметить, что Разумник Васильевич, встречаясь со мной еще в царскосельские времена (он также был царскоселом), неизменно проявлял благожелательное внимание к моим занятиям Некрасовым. Это внимание для меня, начинающего, неуверенного в себе и своих силах литературоведа, было весьма небезразлично.

Моя статья в "Заветах" была озаглавлена "Народнические настроения и общественное миросозерцание Н. А. Некрасова". {Заветы, 1912, No 9, с. 62--88.} Перечитывая ее теперь, по прошествии почти 30 лет, я должен сказать, что основные положения ее мне не перестали казаться правильными. Только в одном отношении не могу не сделать весьма существенной оговорки. Я все время говорю в ней о "народнических настроениях" Некрасова, и это не может не создавать впечатления, что Некрасов является в моих глазах народником. Тем не менее ни в этой статье, ни в некоторых статьях последующего времени, даже в тех из них, в которых я прямо называю Некрасова-народником, не приводится никаких данных, которые позволяли бы утверждать, что поэт разделял основные положения народнической теории. Объективное исследование вопроса, которым я, к великому моему сожалению, удосужился заняться много позже, привело меня к убеждению, что, будучи одним из самых народолюбивых русских поэтов, будучи последовательным и убежденным революционным демократом, Некрасов никогда не был народником в том смысле, в каком принято называть народниками последователей Лаврова и Михайловского. Теперь это для меня ясно, а в дни моего сотрудничества в "Заветах", да и впоследствии, я этого еще не понимал. Отсюда ряд неточных, методологически ошибочных формулировок в моих ранних работах о Некрасове, по поводу которых я не могу не воскликнуть "mea culpa! mea culpa!". {по моей вине! по моей вине! (лат.).}

Объяснением, но не оправданием этой вины служит тот факт, что в том литературно-общественном кругу, в котором я вращался в конце XIX--начале XX в., Некрасова все считали народником, и я принял на веру это утверждение.

Называл Некрасова народником и тот единственный из сотрудников "Отечественных записок", с которым мне неоднократно приходилось о нем разговаривать, - Сергей Николаевич Кривенко, но, насколько я припоминаю, решительно никаких доказательств в подтверждение этого мнения не приводил, может быть потому, что считал его не нуждающимся в доказательствах.

Вообще из бесед с С. Н. Кривенко я вынес убеждение, что особенно близок с Некрасовым он не был, хотя с начала своего сотрудничества в "Отечественных записках" (1873 г.) встречался с ним довольно часто.

Едва ли не этим недостатком близости приходится объяснить тот факт, что Сергей Николаевич уклонился от предложения записать воспоминания Некрасова, которое было ему сделано умирающим в тяжелых муках поэтом. В бумагах отца, работавшего над биографией Кривенко, я нашел копию с собственноручной заметки об этом Кривенко. Вот этот любопытный документ, если не ошибаюсь напечатанный в какой-то статье Е. Колосова о Кривенко, но с тех пор абсолютно забытый.

"Как мне досадно, что я не взялся написать некрасовские литературные воспоминания. Тот сам об этом говорил и самому ему это было желательно. Обратился он с этим, должно быть, месяца за полтора до смерти ко мне и Николаю Константиновичу. {Михайловскому. (Примеч. В. Е. Евгеньева-Максимова).} Вместе мы были у него, а также старики - Салтыков и Елисеев. - "Вот, - говорит, - господа, вы молодые (т. е. я и Н. К.), приходите ко мне и записывайте, что я буду говорить. Много интересного... Только вот беда: кричу я иногда от боли по целым дням, так что часов определенных никак нельзя назначить. Трудно это вам, пожалуй, покажется: придете, а я как раз в эту самую минуту ору на весь дом, так что, может быть, несколько раз придется приходить, пока выдастся часок-другой свободный". Переглянулись мы с Н. К., да тем все и кончилось. А очень стоило потрудиться. Я просто поделикатничал, потому что не лично ко мне он обратился, а к обоим нам, а затем Н. К. и знал его больше, чем я, так что вообще мне как-то неловко было на себя это брать. С Н. К. же я тогда так близок и дружен не был. Кое-что я, впрочем, после его смерти записал по памяти, по просьбе Скабичевского, когда он биографию составлял, и отдал ему в материалы. А не запиши я, как он ужасно нуждался в первые годы по приезде в Петербург, так это и осталось бы незаписанным".

Мне С. Н. Кривенко также рассказывал об этом эпизоде, причем не останавливался перед резким самоосуждением. Видно было, что ему прямо-таки тяжела и неприятна мысль о допущенной им ошибке, которую при желании можно было истолковать как вопиющее невнимание к просьбе умирающего. Даже в последнее мое свидание с ним, происходившее летом 1906 г. на террасе его скромного домика в Туапсе, он заговорил со мной о Некрасове, о его последней болезни и о его предсмертных воспоминаниях, так и не записанных им до конца.

А между тем смерть уже стояла за спиной самого Сергея Николаевича. Когда утром следующего дня я подходил к его домику, меня поразили громкие женские рыдания. Оказалось, что ночью Кривенко скончался от паралича сердца, и жена и дочь его, до крайности потрясенные этой внезапной кончиной, в голос оплакивали его.

А еще через день по улицам Туапсе, тогда еще убогого провинциального городишка, двигался скромный погребальный кортеж. За гробом шло всего несколько человек - ближайшие родственники и знакомые. Но как только шествие достигло строившегося в то время порта, несколько десятков портовых рабочих, бросив работу, присоединились к шествию.

В моей памяти навсегда врезалась эта картина. Ослепительно яркое южное небо; вечно движущееся, вечно переливающееся перламутром южное море; погребальная колесница, медленно поднимающаяся в гору, на "Кадош", где Сергей Николаевич, несмотря на преклонные годы, своими собственными руками строил себе летнюю хибарку. Теперь уже не маленькая, а

большая толпа провожающих с нестареющей песней "Мы жертвою пали в борьбе роковой" на устах.

Похороны забытого писателя превратились, таким образом, в политическую демонстрацию. Участники ее, за исключением родственников и знакомых, мало знали Кривенко, тем более не имели представления о его народническом прошлом. Для них он был только одной из бесчисленных "жертв борьбы роковой", одним из бесчисленных "страдальцев и печальников" русской революции. Этого было достаточно, с точки зрения шедших за гробом рабочих, чтобы отдать ему последний долг, чтобы почтить его память...

Я заговорил о Кривенко, между прочим, и потому, что в моей статье в "Заветах" использован ценный материал, переданный мне Сергеем Николаевичем незадолго до смерти. Это, во-первых, интереснейшие воспоминания о Некрасове его старого приятеля, в течение нескольких лет заведывавшего конторой, т. е. хозяйственной частью "Современника", - Ипполита Александровича Панаева, и, во-вторых, одно из не предназначенных для печати по своей нецензурности стихотворений Некрасова, списанное самим Кривенко с автографа:

Есть и Руси чем гордиться,
С нею не шути!
Только славным поклониться -
Далеко идти.
Вестминстерское аббатство
Родины твоей -
Мир подземного богатства,
Снеговых степей.

Статья моя в "Заветах", если не ошибаюсь, первая моя статья о Некрасове, подписанная псевдонимом "Евгеньев". Необходимость прикрыть свое лицо забралом в виде псевдонима была продиктована горьким опытом. Я не мог не сознавать, что сотрудничество в "Заветах" должно было усугубить недоброжелательное внимание "властей предрержащих" к моей скромной особе. Все бывавшие в редакции этого журнала знали, что за помещением редакции была учреждена полицейская слежка.

Однажды, когда я пришел в редакцию за гонораром, кто-то из работников редакции, взглянув в окно, воскликнул:

- Ого! число приставленных к нам шпиков увеличилось вдвое. Уж не заарестовать ли всех нас собираются?!

В результате мне и еще двум-трем случайным посетителям редакции было предложено воспользоваться "секретным ходом", т. е. спуститься по лестнице в одну из квартир, имевших выход на другую улицу <...>

Почему именно мною был выбран псевдоним "Евгеньев" - объяснить нетрудно. Этим псевдонимом я как бы подчеркивал свою не только кровную, но духовную связь с отцом - человеком, которому я столь многим обязан в своем развитии.

VI

Прорабатывая еще в университетские годы литературу о Некрасове, я не мог не прийти к убеждению, что, довольно многочисленная количественно, качественно эта литература стоит на невысоком уровне.

Даже выход в 1905 г. книжки о Некрасове столь авторитетного ученого, как А. Н. Пыпин, не внес сколько-нибудь существенных перемен в это положение вещей. Ведь книжка эта ни в каком отношении не могла быть названа научным исследованием, так как почти сплошь была заполнена воспоминаниями автора о Некрасове и кружке "Современника", письмами Тургенева

к Некрасову, информацией о некоторых прозаических произведениях Некрасова, а отчасти их беглым разбором, библиографическими ссылками и указаниями и т. п.

Задумываясь над тем, почему Пыпин вместо исследования дал только сборник материалов, - пусть ценных и интересных, но малообработанных, - я пришел к заключению, что Пыпин не мог поступить иначе, так как процесс собирания материалов естественно должен предшествовать процессу научной разработки проблем, связанных с изучением того или иного писателя.

В отношении Некрасова вопрос стоял особенно остро: и потому что его произведения были не собраны, а целый ряд их вовсе неопубликован; и потому, что бывшие в ходу издания его сочинений являлись живым примером того, как не следует издавать классиков; и потому, что огромная переписка поэта оставалась в большей своей части неизвестной; и потому, наконец, что как критические статьи о Некрасове, так и воспоминания о нем современников отличались чрезвычайной противоречивостью и разногласиями.

Очередная задача некрасоведения - в собирании материала, - вот то убеждение, к которому я пришел ко времени появления в печати моей первой журнальной статьи о нем.

Согласно этому своему убеждению, я и стал планировать свою некрасоведческую работу.

Вскоре мне удалось выяснить, что бумаги Некрасова, находившиеся в его петербургской квартире и перешедшие после его смерти в распоряжение его сестры Анны Алексеевны Буткевич, не надолго пережившей поэта, хранятся у Анатолия Федоровича Кони.

Кони и по своему служебному положению (он был сенатором и членом Государственного Совета) и по той всероссийской известности, которую он так заслуженно приобрел, будучи действительно выдающимся общественным деятелем, оратором, наконец писателем, стоял далеко от привычного круга моих знакомых, и мне трудно было надеяться на знакомство с ним, тем более на доступ к бережно им хранимым бумагам Некрасова - "петербургскому архиву" поэта.

Однако и здесь пришел ко мне на помощь отец, уже несколько лет с успехом подвизавшийся в некоем благотворительном ведомстве - Попечительстве о трудовой помощи. Отец был управляющим делами этого попечительства, а А. Ф. Кони состоял членом Комитета, который являлся как бы высшим руководящим органом учреждения. Совместная работа в Попечительстве если и не сделала отца и Кони друзьями, то все-таки сблизила их настолько, что отец имел полную возможность, со значительными шансами на успех, просить Кони принять меня и допустить к изучению "петербургского архива" Некрасова.

Результат превзошел наши с отцом ожидания, Кони очень охотно пошел навстречу просьбе отца, и через несколько дней я уже получил от него открытку с просьбой явиться к нему в такое-то время...

Я имею все основания утверждать, что знакомство с Кони и доброе отношение, которое он ко мне проявил, - крупнейшая удача моего некрасоведческого пути, а вместе с тем и всей моей жизни. Если мне и удалось кое-что сделать для русского некрасоведения, то этим я прежде всего обязан Кони.

При первом нашем свидании он держался в отношении меня с несколько официальной любезностью, от которой веяло чуть заметным холодком, но затем мало-помалу стал оттаивать и повел беседы со мной в тоне дружеской простоты и откровенности.

Кони был одним из самых некрасивых, но в то же самое время одним из самых обаятельных людей, каких только мне приходилось встречать. Когда он говорил, то красота его речи, соединявшая красоту мысли с красотой словесного выражения, заставляла забывать и

на редкость неправильные черты его плоского лица, и малорослость его сутулой, приземистой фигуры, и крайнюю непропорциональность его сложения.

"Какой противный гномик!", - прошептала некая слишком экспансивная девица, пришедшая по моему совету на одну из лекций Кони, при первом появлении лектора на эстраде. "Какой очаровательный, какой умница!", - твердила она, возвращаясь с лекции. "Противным гномиком" Кони никогда мне не казался, но с двумя последними определениями его я не мог не согласиться.

До сих пор не знаю, кому или чему я обязан расположением Кони. Отец ли, которого он очень ценил и уважал, сумел внушить ему доброе чувство ко мне? Проявляемый ли мною энтузиазм ко всему, что касалось Некрасова, расположил его в мою пользу? Как бы то ни было, я благодаря Кони получил возможность ознакомиться с таким количеством интереснейшего и ценнейшего материала по Некрасову, что как исследователь сразу же ощутил у себя под ногами твердую почву.

Очень быстро наметилась существенная перемена и в моем положении как литератора. Если в конце 1912 г. я был чрезвычайно польщен тем, что редакция "Заветов" предложила мне написать статью к 35-летию смерти Некрасова, то начиная с 1913 г. устраивать свои статьи в "толстых" журналах для меня уже не составляло труда. Наоборот, многие из них искали моего сотрудничества, зная, что в каждую из моих статей о Некрасове в большей или меньшей мере входят неизданные материалы. А основным источником, из которого я черпал эти последние, был все тот же "петербургский архив" поэта, доступ к которому открыл мне Кони.

И когда в тех же "Заветах" я печатал статью "Некрасов и политическая реакция его времени" (1913, No 2) и "Предсмертные думы поэта-гражданина" (1913, No 6), то "изюминкой" их являлся ряд переданных мне Кони неизданных стихотворений Некрасова на политические темы. Точно так же интерес статьи в "Русском богатстве" "Некрасов в начале 40-х годов" (1913, No 10) в значительной степени зависел от неизданных писем Некрасова к Федору Алексеевичу Кони, предоставленных мне Анатолием Федоровичем. От Кони же я получил пачку неизданных писем к Некрасову его отца Алексея Сергеевича, которые были положены в основу моей статьи в "Голосе минувшего" "Некрасов и его отец" (1913, No 10).

Число подобных примеров я мог бы увеличить в несколько раз.

Даже теперь, по прошествии почти 30 лет, в моем бюро хранятся копии некоторых документов, которые в свое время дал списать мне Кони и которые до сих пор еще мною не опубликованы. Не потому, чтобы я избегал их опубликования, а исключительно потому, что уж очень велик был запас новых материалов, разысканных мною благодаря Кони.

Я не случайно употребил выражение "разысканных мною". До отказа загруженный своей служебной, общественной, литературной работой, Кони не имел времени, достаточного для детальной разработки и систематизации, не говоря уже для изучения, хранившихся у него сокровищ. Я несколько раз предлагал Анатолию Федоровичу свои услуги по части разборки, систематизации, а то и научного описания архива Некрасова, но он упорно не шел на это. Более того, Кони избегал демонстрировать свою некрасовскую сокровищницу в ее полном виде и предоставлял мне для ознакомления только сравнительно небольшие папки, содержимое которых не всегда достаточно хорошо знал. Изучение этих папок сплошь да рядом наталкивало меня на такие открытия, которые были неожиданностью для самого Кони <...>

Когда в печати появлялись какие-либо статьи, содержащие в себе неблагоприятные суждения о личности Некрасова, Кони и волновался и огорчался. У меня сохранилось письмо Анатолия Федоровича, в котором он благодарит меня за печатные комментарии к воспоминаниям о Некрасове Е. Жуковской (Былое, 1923, No 22), доказывающие фактическую необоснованность целого ряда обвинений, предъявленных автором воспоминаний Некрасову.

Не нравились Анатолию Федоровичу и проникавшие в печать отрицательные отзывы о подруге последних лет жизни поэта - Зинаиде Николаевне. Мне неоднократно приходилось

слышать от него, что Некрасов относился к Зинаиде Николаевне с полным уважением и не допускал в ее присутствии фривольных разговоров, до которых были падки некоторые из его близких знакомых, особенно в послеобеденные часы. Впоследствии Кони включил эту подробность в текст своих воспоминаний о Некрасове, вышедших в дни столетия рождения поэта отдельным изданием.

Не только как мемуарист, но и как лектор поддерживал Кони добрую память о Некрасове.

Не будет, думается, лишним сказать здесь несколько слов о лекциях Кони по литературе. Когда в пылу борьбы за новый, рожденный Октябрьской революцией строй некоторые чересчур горячие головы готовы были трактовать классическую литературу как негодное наследие прошлого, Кони был одним из первых, восставших против такого взгляда. С этой целью он, 75-летний старец, пошел в массы с лекциями о Пушкине, Толстом, Достоевском, Гончарове, Некрасове и т. д. И где только не приходилось ему лекторствовать в эти годы! Он читал лекции и индустриальным рабочим, и красноармейцам, и кооператорам, и служащим Мурманской железной дороги, и студентам, и трудшкольникам, и т. д., и т. п. Несмотря на свой возраст, несмотря на тяжелые последствия материальных невзгод, коснувшихся и его, читал он с подъемом и увлечением и пользовался неизменным успехом. Прямо поразительно, как этот глубокий старик, столь тесно связанный с высшими кругами дореволюционной России, умел найти слова, доходившие до самого сердца рабоче-крестьянских аудиторий.

Для человека того общественного круга, к которому в течение многих десятилетий принадлежал Кони, для человека его лет это неустанное и постоянное лекторство было истинным подвигом. И во имя чего он его совершал? Во имя и во славу все той же русской литературы! Но, совершая этот подвиг, Кони надорвал свое здоровье и ускорил свою кончину.

Что касается лекций Анатолия Федоровича собственно о Некрасове, а их, кстати, он особенно любил читать, то прежде всего необходимо отметить, что они по своему содержанию только частично повторяли его воспоминания. Воспоминания, вернее, составляли вторую часть каждой из этих лекций. Первую же часть Кони обычно посвящал характеристике Некрасова как поэта. О том, как строил он эту характеристику, можно судить по статье его "Мотивы и приемы творчества Некрасова" (см.: Памятка ко дню столетия рождения Некрасова. ГИЗ, 1921), представляющей собой как бы конспект того, что говорил Кони в начале своей лекции. Конечно, статья эта с точки зрения современного литературоведения слабовата, - Кони ведь никогда и не претендовал на звание записного литературоведа, - но в устной передаче она производила очень сильное впечатление на тех, по большей части простых людей, отнюдь не литературоведов, пред которыми произносилась.

Особенно нравилось аудитории образное описание детства поэта и влияний, предопределивших, по мнению Кони, основное настроение и направление некрасовской поэзии <...>

Необыкновенно душевный тон лекций Кони, а лекций его о Некрасове в частности, его несравненный дар излагать любой вопрос, любую проблему удивительно просто и понятно, не впадая в то же время в слащавую вульгаризацию, более чем преклонный возраст самого лектора, за согбенным станом которого рисовались тени его великих современников, в своем совокупном воздействии на аудиторию давали необычайно сильный психологический эффект. То, что говорил Кони, этот неповторимый лектор-художник, захватывало и покоряло слушателей и неизгладимыми чертами врезывалось в их память. Самые беспокойные, недисциплинированные аудитории буквально замирали при первых звуках негромкого голоса Анатолия Федоровича. Успех вечера, на котором дал свое согласие выступить Кони, можно было потому заранее считать обеспеченным. Не боясь упрека в преувеличении, я решаюсь утверждать, что "некрасовские дни", павшие на декабрь 1921 г. (столетие со дня рождения поэта), приобрели в Ленинграде значение крупного общественно-литературного события и заставили всколыхнуться весь город, еще не залечивший тяжких ран, нанесенных годами разрухи, голода и интервенции, в значительной мере благодаря тому, что их оживлял своим интенсивным участием Анатолий Федорович Кони.

Окрыленный успехом своего обращения к Кони, я прилагал все усилия, чтобы завязать отношения и с другими лицами, у которых можно было получить материалы по Некрасову. На этом пути мне нередко сопутствовал успех, а иногда подстерегали и неудачи.

Весьма любезно отнесся ко мне старенький генерал Алексей Николаевич Данилов, который был женат на одной из дочерей Александра Николаевича Еракова, воспитаннице Анны Алексеевны Буткевич. Он передал в мое распоряжение интереснейшие письма Некрасова к Еракову, с которым, как известно, поэта связывали узы теснейшей дружбы.

Очень сочувственное отношение встретил я и со стороны другого старика, также дослужившегося до генеральских чинов, правда, уже не по военному, а по гражданскому ведомству, - Андрея Квинтилиановича Голубева. Голубев принадлежал к истинным почитателям Некрасова и тотчас же после смерти поэта выпустил особый сборничек, посвященный его памяти. Несколько позже Голубев принял на себя звание попечителя выстроенной на средства Некрасова школы близ Грешнева, в погосте Абакумцево. Андрей Квинтилианович обрадовал меня ценным подарком - письмами Некрасова к свящ^{еннику} Зыкову, помогавшему ему в устройстве школы, и рукописной копией четвертой части поэмы "Кому на Руси жить хорошо" - "Пир на весь мир". На "Пире", как помнит читатель, и при жизни поэта и в первые годы после его кончины лежал строгий цензурный запрет.

Петр Алексеевич Картавов, человек купеческой складки, без широкого образования, но фанатически преданный коллекционерству (он собирал и автографы, и гравюры, и марки), очень обязательно ознакомил меня с своим собранием автографов Некрасова, которым особенно интересовался, может быть, отчасти потому, что был его земляком, и предоставил мне возможность списать текст приобретенных им у какого-то букиниста неизданных водевилей Некрасова (для детей) и "Сказки о царевне Ясносвете". Мало того, он разрешил мне использовать содержание этих произведений для одной из моих статей.

Однако далеко не всегда собирание материалов по Некрасову шло так гладко: иной раз мне приходилось терпеть ощутительные неудачи, причем - любопытная вещь! - чем дальше стоял собственник тех или иных материалов от литературы, тем охотнее он шел мне навстречу. Заправские же литераторы и лица, по своим родственным отношениям связанные с литературным кругом, очень часто не проявляли никакого желания помочь мне.

В претр^{анном} положении я очутился, когда был принят "последним из могикан" некрасовского "Современника" Максимом Алексеевичем Антоновичем.

Скромная передняя.

Ко мне навстречу выходит беленький, беленький старичок. Не даром Антоновича даже тогда, когда он не был еще седым, его жена называла "Белочкой".

Я рекомендуюсь - старичок молчит.

Говорю о цели моего посещения - то же молчание.

Когда я, смущенный и раздосадованный таким приемом, уже был готов откланяться, старичок, так же молча, показывает на двери прилегающей к передней комнаты.

Я следую за ним.

Старичок садится и, опять-таки не говоря ни слова, указывает мне на стул против себя.

Я рассказываю ему о своей работе по Некрасову, старательно обходя щекотливые темы, вроде печатного выступления Антоновича против Некрасова в 1869 г., - молчание.

В отчаянии я вынимаю список вопросов, который заготовил, собираясь к Антоновичу, и зачитываю его. Тот же результат.

Только к самому концу моего, кстати сказать, очень непродолжительного, визита Антонович начал иногда прерывать молчание и, отвечая на тот или другой вопрос, отговариваться незнанием.

Лишь на один вопрос он дал более или менее определенный ответ: автором стихотворения "Шарманка" ("Тридцать лет таскал старик по дворам шарманку") был, по его словам, Некрасов. А между тем вскоре я получил неопровержимое доказательство того, что "Шарманку" написал Зотов.

Антоновичевская "игра в молчанку" повергла меня в состояние полнейшей растерянности. Я, по совести говоря, не знал, чем ее объяснить: память ли изменила сидящему против меня семидесятивосьмилетнему старику или же он просто не хочет говорить и отваживает меня. Просидев около получаса у Антоновича и не добившись от него никакого толку, я распростился с ним и отправился восвояси.

Обдумывая впечатления от посещения Антоновича, я все более и более склонялся к мысли, что странность оказанного мне приема объясняется именно его забывчивостью. Не прошло, однако, и трех лет, как я должен был отказаться от этого предположения. Одна из моих статей в "Голосе минувшего", в которой я довольно подробно касался взаимоотношений Некрасова, Елисеева, Антоновича, возбудила неудовольствия этого последнего, и он ответил мне большой полемической статьей, которая, хотя и показалась мне неубедительной, но во всяком случае свидетельствовала о том, что несмотря на более чем преклонный возраст Антонович довольно отчетливо помнит даже стародавнее прошлое. {Об этой полемике я довольно подробно рассказываю в моей книге "Последние годы "Современника"", стр. 97. (Примеч. В. Е. Евгеньева-Максимова).}

Еще более тягостное впечатление, чем свидание с Антоновичем, произвела на меня переписка с Михаилом Николаевичем Чернышевским. Имея в виду посвятить особую статью отношениям Некрасова и Чернышевского, я счел необходимым увидеться с сыном Николая Гавриловича, чтобы путем личной беседы проверить некоторые неясные для меня пункты. В марте 1913 г. я написал Михаилу Николаевичу особое письмо, в котором в высшей степени почтительных выражениях просил о свидании с ним. Мало того, я послал Михаилу Николаевичу свою книгу о Некрасове, чтобы, проглядев ее, он знал, с кем имеет дело.

На мое письмо я тотчас же получил ответ, увы, не только не утешительный, но показавшийся мне очень обидным.

"Что касается, - писал мне Михаил Николаевич 12 марта, - до Вашего намерения побеседовать со мной, то я сильно сомневаюсь, чтобы это могло быть Вам полезно... Я не принадлежу к людям, которые с легким сердцем открывают свою душу любому интервьюеру. Тяжелые впечатления детства и юности наложили свою печать и на мой характер, и я вообще избегаю серьезных разговоров с людьми, мне совершенно незнакомыми"...

До крайности взволнованный этим ответом, я побежал к отцу, с которым всегда советовался в затруднительных случаях жизни. Отец обиделся за меня еще, кажется, больше, чем я сам. Было решено, что я должен ответить Михаилу Николаевичу и ответить резко.

Вот текст моего ответного письма.

"Милостивый государь {Обращение "Милостивый государь" я заимствовал из письма М. Н. Чернышевского. (Примеч. В. Е. Евгеньева-Максимова).} Михаил Николаевич,

Пишу Вам под впечатлением Вашего письма, явно написанного Вами с целью прекратить дальнейшую переписку со мной.

С детства я зачитывался произведениями Вашего отца. Как я чту его память, Вы могли видеть из моей книги "Очерки по истории русской литературы 40--60-х годов" и из моих статей

в "Заветах". И вот теперь от сына столь любимого и уважаемого писателя мне пришлось услышать презрительные слова "любой интервьюер"...

Я, милостивый государь, обращался к Вам не как любой интервьюер, а как добросовестный исследователь, желающий прежде чем опубликовать неизданные материалы, касающиеся отношений двух крупнейших писателей, познакомиться с их содержанием сына одного из этих писателей, во избежание возможных ошибок.

Ваше предположение о том, что я добивался, чтобы Вы раскрыли мне свою душу, ни на чем не основано, и я удивляюсь даже, каким образом оно могло возникнуть. Относительно того, что я "совершенно незнакомый Вам человек", должен заметить, что, если бы Вы пожелали проявить в этом деле большую отзывчивость, Вам легко было справиться обо мне у наших общих знакомых: Е. А. Ляцкого, П. Е. Щеголева и В. И. Срезневского".

Мое письмо имело несколько неожиданный для меня результат. Михаил Николаевич счел нужным извиниться передо мной, но постарался обставить свое извинение столькими оговорками, что смысл его письма в конце концов сводился к тому, что во всем происшедшем я виноват в несравненно большей степени, чем он.

Через несколько дней после этого quasi-извинительного письма Михаил Николаевич обратился ко мне с новым, на этот раз очень длинным (13 страниц) письмом (от 18 марта), в котором он пытался дать обстоятельный "психологический анализ" нашего конфликта.

Заключительный вывод гласил: "Вы поступили необдуманно, не наведя обо мне справок и не заручившись рекомендациями лиц, мною уважаемых. Я поступил обдуманно, но без достаточных объяснений. В результате взаимная обида, совершенно бесцельная и никому не нужная".

По прочтении этого письма для меня стало совершенно ясно, что Михаил Николаевич - человек крайне нервный и болезненно впечатлительный. Знай я это раньше, я, думаю, сумел бы избежать с ним конфликта. Грустнее всего было то, что Михаил Николаевич затаил ко мне недоброе чувство, в чем мне вскоре пришлось убедиться уже при совершенно других обстоятельствах.

Столь же безрезультатным, как обращение к сыну Чернышевского, было мое обращение к Елизавете Михайловне де Пассано - дочери М. Е. Салтыкова-Щедрина, другого великого соратника Некрасова. И ее в самых почтительных выражениях я просил об "аудиенции", о доступе к архиву ее покойного отца, и ей я послал, в подкрепление моей просьбы, экземпляр своей книги.

Ответ не заставил себя ждать. До сих пор у меня хранится листок почтовой бумаги с золотым обрезом, изготовленной, надо думать, по специальному заказу. На этом когда-то раздушенном листке мелким бисерным почерком написано (<22 февраля 1913 г.>):

"Милостивый государь,

Очень благодарна Вам за книгу, и прочту ее с большим интересом, но я лично не могу ничем быть Вам полезной, так как в имеющихся у меня бумагах моего покойного отца не нашлось ничего касающегося Некрасова.

Примите уверение в совершенном моем почтении,

Маркиза де Пассано".

Мне трудно было поверить, что так-таки в бумагах Салтыкова, работавшего с Некрасовым и в "Современнике" и особенно в "Отечественных записках", имевшего с поэтом обширную, долголетнюю переписку, наконец, нередко занимавшего у него деньги, нет "ничего касающегося Некрасова". Однако смысл записки "прекрасной маркизы", несмотря на

великосветски-любезную форму, был настолько категоричен, что мне ничего не оставалось, как отказаться от дальнейших сношений с нею.

Итак, М. Н. Чернышевский и маркиза де Пассано не захотели помочь мне.

В иных случаях мои обращения терпели неудачу потому, что те лица, к которым я обращался, не могли мне помочь.

Сошлюсь, в подтверждение, на письмо ко мне библиографа Степана Ивановича Пономарева, первого редактора и первого комментатора сочинений Некрасова, к тому же неплохого редактора и комментатора. Зная о той добросовестности, с которой Пономарев работал над четырехтомным изданием Некрасова 1879 г. (лучшим дореволюционным изданием), имея основания предполагать, что в его распоряжении находились ценнейшие материалы, присланные ему издательницей А. А. Буткевич, сестрой поэта, я написал и ему.

Вот что отвечал мне Пономарев в письме (от 13 февраля 1913 г.), написанном столь дрожащим и неровным почерком, что разобрать его стоило немалых трудов:

"Глубокоуважаемый Владислав Евгеньевич!

Сердечным спасибо и не одним полновесным поклоном начинает свою письменную беседу с Вами 84-летний старец, давным-давно потерявший слух, а ныне теряющий и зрение. Простите краткость и малосодержательность моих строчек:

Под старость жизнь такая гадость,
Уж никуда не годен я...
Мне тяжела теперь и радость
Не только грусть.
Душа моя
Почти совсем утомлена.

И я позволяю себе варьировать пушкинские пленительные стихи.

Вы готовы даже приехать в Конотоп побеседовать со мною о Некрасове, но я звона колоколов церковных вовсе не слышу... А на Ваш вопрос: можно ли "Шарманку" и "Притчу" считать некрасовскими - могу отвечать только: так указывало мне литературное предание 1850-х годов, когда мне пришлось два раза быть в Питере. Но я хорошо помню, что ему принадлежит "Пир на весь мир", который прислала мне сестра Некрасова - Анна Алексеевна. Когда-то в "Отечественных" записках" поместил я свою "Копеечную свечку в память Некрасова", тогда же писал о нем и В. Горленко (к сожалению, умерший очень рано), но я теперь вовсе не помню содержания их: "Старость память отшибает". Думаю, впрочем, что хорошо было бы перепечатать и прозу Некрасова (этого желал и А. С. Суворин в письме ко мне), но, разумеется, не отдельным томиком, а в полном собрании его сочинений.

Пора мне дать отдых Вашим глазам и еще раз поклониться. Очень благодарю за Вашу книгу, которую начну я немедленно читать хоть по страничке в день солнечный.

Будьте бодры и крепки на много лет, и да зреет с каждым годом Ваша интересная содержательная работа в литературе.

Сердечно Вам благодарный С. Пономарев".

Хотя письмо Пономарева, тронувшее меня до глубины души, не предрасполагало к дальнейшей переписке, так как воочию убеждало в том, насколько тяжелой стала его жизнь благодаря старости, глухоте и слепоте, я все же решился написать ему вторично. Дело в том, что из переписки Пономарева с А. А. Буткевич, хранившейся в Рукописном отделении Академии наук и предоставленной мне для ознакомления любезнейшим и предупредительнейшим Всеволодом Измаиловичем Срезневским, узнал, что у Пономарева должен быть экземпляр

сочинений Некрасова 1873 г., если не с собственноручными заметками поэта, то с копиями с этих заметок. О своем желании ознакомиться с этим экземпляром я и написал Пономареву.

Его ответное письмо было на этот раз совсем кратким, причем краткость едва ли не имела своей причиной прогрессирующую потерю зрения.

"Глубокоуважаемый Владислав Евгеньевич,

Смею Вас уверить, что всеми заметками Н. А. Некрасова я воспользовался в 4<-м> томе издания его стихотворений, и нового ничего Вы не нашли бы в моем экземпляре. Да и самый экземпляр свой, равно как и всю библиотеку свою, я раздарил здешним гимназиям - мужской и женской и Духовному училищу для девиц духовного звания, так как читать мне запрещено.

Помоги Вам господь во всяком благом деле.

Засим извините, если письмо мое запоздает: в нашем городе такая непроходимая грязь, что трудно бродить не только мне, но и всякому двуногому. А я едва ноги волочу и по хате.

Уважающий Вас С. Пономарев".

На этом и оборвалась моя переписка с Пономаревым. Но я навсегда сохранил благодарное воспоминание о нем: хотя он и не был в состоянии помочь мне делом, но добрым словом он несомненно мне помог. Для меня отнюдь не было безразлично, что единственный литературный работник прошлого века, подходивший к Некрасову не как критик, не как публицист, а как ученый, как текстолог, нашел для меня доброе слово. Доброе слово, я никогда не сомневался в этом, в иных случаях равноценно доброму делу.

В ноябре того же 1913 г. я с грустью прочел газетные сообщения о смерти С. И. Пономарева. Таким образом, он пережил свои письма ко мне всего на полгода <...>

VIII

Чем более развивалась и углублялась моя работа по изучению Некрасова, тем острее вставал передо мною вопрос об отношении к его поэзии широких рабоче-крестьянских масс.

Я знал и получал чуть ли ни каждый день новые тому подтверждения, что реакционная часть русского общества его терпеть не может, что для "черносотенцев" XX в. он так же ненавистен, как для "охранителей" различных мастей и рангов середины XIX в. Неоднократно убеждался в том, что к Некрасову в лучшем случае холодна, а то и прямо враждебна либеральная часть нашей интеллигенции - не даром неискренних и двоедушных российских либералов с такой беспощадной суровостью разоблачали на страницах "Современника" и "Свистка" все три Николая: и Николай Алексеевич, и Николай Гаврилович, и Николай Александрович <Добролюбов>.

Кровно связанный с демократическим сектором общественности, я прекрасно был осведомлен, что широкие круги демократической интеллигенции продолжают относиться к Некрасову и в начале XX в. с таким же теплым сочувствием, как и в 60--70-е годы. Некрасов, как известно, очень высоко ценил симпатии к себе этого "читателя-друга", "читателя-гражданина", но в то же время страстно мечтал о популярности среди народных масс. Пусть теперь, при его жизни, забитый и угнетенный народ его не знает, но рано или поздно придет, должно прийти "желанное времячко", когда "широкие лапти народные" проторят дорогу и к его могиле. Эта надежда, в сущности, никогда не оставляла Некрасова. Обманула ли она или не обманула поэта?

У меня были некоторые основания предполагать, что не обманула. Я старательно накапливал факты, свидетельствующие о том, как растет популярность Некрасова среди рабоче-крестьянских масс, но, увы, фактов этих в конце концов в моем распоряжении было

немного. Во всяком случае на их основе сколько-нибудь широких выводов сделать было нельзя.

В начале 1913 г. мне пришла в голову счастливая мысль распространить анкету среди демократического читателя об отношении его к Некрасову. Я выработал для этой анкеты следующие вопросы:

1. Когда и при каких условиях состоялось мое знакомство с поэзией Некрасова?
2. Какое впечатление она на меня произвела первоначально и какое производит теперь?
3. Какие стихотворения Некрасова представляются мне наиболее удачными и какие наиболее слабыми?
4. Какие факты, характеризующие отношения к поэзии Некрасова крестьян, рабочих, ремесленников, мне известны?
5. Считаю ли я полезным знакомство с поэзией Некрасова широких масс народных, а если считаю, то почему?
6. Какими путями это знакомство легче всего могло бы осуществиться?

При решении вопроса, каким образом распространить эту анкету среди тех, кому она была адресована, я остановился на мысли использовать хотя бы один демократический по составу своих читателей журнал и хотя бы одну газету. Выбор мой пал на "Жизнь для всех" и "Современное слово".

Почему на эти именно издания? По мотивам в значительной степени личным и случайным.

К редакции "Жизни для всех" очень близко стоял мой отец, снабжая В. А. Поссе средствами на первые расходы по изданию. Что касается меня, то я числился постоянным сотрудником журнала по литературно-критическому отделу и поместил в нем немало количество статей, в том числе и статей о Некрасове. Кой-какие связишки были у нас с отцом и с редакцией "Современного слова".

Когда я начал получать ответы на анкету, количество которых было несравненно более многочисленным, чем можно было ожидать, - я почувствовал, что у меня за плечами вырастают крылья. Не буду распространяться, как я любил и ценил Некрасова, но в первые годы моих занятий по изучению его меня столько упрекали в крайней переоценке Некрасова, что я стал колебаться не в своем некрасоволюбии (в нем-то я никогда не колебался), а в своем взгляде на его поэзию. Колебания эти нигде и никому не были мной высказаны, но они, что греха таить, бывали. А какое значение имели для меня эти колебания? Они неизбежно влекли за собой сомнения в правильности избранного мною жизненного пути...

Анкета раз навсегда устранила эти колебания и сомнения, ибо благодаря ей я впервые услышал уже не единичные, часто противоречивые голоса критиков-интеллигентов, а мощный голос масс. И этот голос, провозгласив Некрасова великим народным поэтом, первоклассным художником слова, певцом революционных стремлений и чаяний трудящихся, тем самым поддержал ту точку зрения на него, которую - худо ли, хорошо ли - я развивал во всех своих статьях о нем.

Здесь не место подводить итоги произведенной анкете, тем более что это уже сделано мною и сделано не один раз: на страницах "Жизни для всех" в статье "Некрасов и читатель из народа" (1914, No 3) и в одной из глав моей второй книги о Некрасове (Некрасов. Сборник статей и материалов. М., 1914, с. 266--296).

Однако, кроме подведения итогов, есть еще один способ ознакомить с ней читателей настоящих мемуаров - цитация наиболее интересных писем. Такая цитация, думаю мне, представляет несомненный интерес, хотя бы уже потому, что ни разу мною не производилась. Краткие выдержки из писем я, конечно, давал, не мог не давать, подводя итоги анкеты, но отдельно ни одно из этих писем еще не было опубликовано.

Затем мне хочется, и я думаю, что имею на это нравственное право, назвать имена некоторых из авторов, приславших мне свои письма. В 1914 г., т. е. в годы старого режима, я никоим образом не мог на это решиться, ибо опубликование имен авторов неминуемо повлекло бы репрессии если не против всех них, то во всяком случае против некоторых.

Начинаю с крестьянских писем, хотя они и не составляют большинства среди ответов на анкету.

Письмо Василия Тарасова.

"Я надеюсь, что Вы извините меня за незнание грамматики! Я окончил только церковно-приходскую школу и хотя многому научился путем самообразования, но грамматику не могу осилить без помощи учителя; платить же учителю не имею средств, хотя и очень хотелось бы изучить ее, так как я кое-что пописываю..."

Когда началось мое знакомство с Некрасовым - определенно не могу сказать; думаю, что началось с тех песен из поэмы "Коробейники", что поют по святой беспредельной Руси, да еще из тех немногих строк, что допущены в учебники церковно-приходских школ. Но мне и этого было достаточно, чтобы почуять близкое и родное моему сердцу творчество. Не имея никаких средств и данных к добыванию произведений Некрасова, я старался улавливать каждый звук кем-либо заученного его стихотворения. Назойливо выпрашивал книгу у того, кто ее имел.

Какое впечатление производит на меня поэзия Некрасова?! Я лежал втоптаный в грязь всеобщим произволом. Кто знает, сколько бы я там пролежал, если бы не услышал страшный, за душу хватающий крик: "Как вы смели втоптать его в грязь?..". И увидел я тогда мужа, прекрасного в гневе своем, с венцом глубокого страдания на челе.

Кто не познает личным страданием страдания других, кто видит ближнего своего лишь в том, с кем пьет на брудершафт, тот, конечно, сможет найти неудачные стихотворения у Некрасова. Люди же, пишущие историю народа на собственном сердце и собственной кровью, не найдут слабых.

Да если бы и были они, можно ли говорить о них после таких шедевров, как "Мороз, Красный нос", читая который, чувствуешь ледяное дыхание его, видишь причудливые узоры инея на ветвях, стоишь рядом с умным Савраской у воза с хворостом, посреди жуткой и таинственно-прекрасной лесной чащи и мечтаешь с этой обездоленной сестрой-крестьянкой о ее горьком житье-бытье.

У кого найдется столько красоты, силы и души, чтобы так воспеть неизмеримую красоту богатыря-пахаря и его скитания по матушке Руси в поисках правды?

А кто еще с такою психологической чуткостью подметил и указал нам на грань, разделившую два мира детей: один культурно стреноженный, искалеченный разными нянюшками и мамушками, не умеющий пройти трех комнат своего дома, чтобы не заблудиться, - другой свободный, дикий, такой, каким его сформировала сама природа и с колыбели указала ему на все то, что он призван осуществить? Этим детям и темный бор не страшен и степь широкая узка.

Наконец, кто наделил таким светлым ореолом русскую женщину на всех поприщах жизни? Кто указал в ней и духовное и социальное равенство, начиная с княгини, идущей в холодную тундру, чтобы облегчить страдания благородному мужу, до богатыря-крестьянки, способной коня на скаку остановить?

Если и находятся люди, отрицающие творчество Некрасова, то сердце этих людей - грохот, который золотоносный песок просеивает, а булыжник оставляет...

Как воздух необходим для дыхания, как солнце необходимо для согревания, так и Некрасов необходим для широких масс, потому что он является их духовным защитником, их сторожем и целителем.

Не было такого случая у меня, чтобы те из крестьян, которых я так или иначе знакомил с поэзией Некрасова, не просили еще почитать. Рабочие, насколько я знаю, считают его одним из любимейших своих поэтов. Василий Тарасов".

Письмо Ивана Молодцова.

"Семь-восемь лет тому назад, когда мне было 18--19 лет... я стал читать книги, отыскивая в них ответы на мучающие меня вопросы. В это время и прочел Некрасова...

Впечатление он произвел на меня неотразимое. С тех пор я не перечитывал Некрасова, но передо мной и сейчас стоят высокие образы "Русских женщин", я восхищался их чистотой и подвигом. Они были для меня идеалом. Образы эти, а также образы из "Кому на Руси жить хорошо" и "Размышлений у парадного подъезда" потрясли меня, заставили пережить чувство, подобное тому, которое получаешь, присутствуя первый раз при смертной казни...

Я сам мужик и хотя в деревне давно уже не был, но чувствую ее близость к себе... Некрасов, по-моему, это все равно, что нашелся бы такой мужик с громадными способностями, с русскими мужицкими болями в груди, взялся бы этак и описал свое русское нутро и показал бы его своим братьям мужикам: "Смотрите-де на себя"! А оно, это нутро, заражает и воспламеняет, и не к дурному, а к хорошему. Ив. Молодцов".

"Ответы-воспоминания" И. Кирячка.

"В 1905--<190>6 гг., во время "незыблемых свобод", когда чуть ли не вся Россия содержалась в тюрьме, как "неблагонадежная", - я тоже отдыхал там от трудов праведных и учился уму-разуму. Золотое и богатое воспоминаниями то было время. Для многих была тюрьма, но для нас, крестьян, "народный университет". Много вышло оттуда простого деревенского люда с облагороженной душой. Широкое поле деятельности было там для интеллигенции, стремившейся открыть глаза и показать свет слепым... Миллионы брошюр "Донская речь" {Вероятно, имеется в виду "Донская речь. Газета политическая, общественная и литературная" (Новочеркасск, 1887--1905).} Парамонова проскальзывали сквозь скважины тюремных замков и буквально изъедались простым людом...

Там и мне пришлось более шире ознакомиться с поэзией Некрасова и Никитина, которых не только я, но почти все поголовно, не исключая и неграмотных, изучали наизусть. О, если бы глашатаи "тащи и не пущай" знали, какую пользу народу дала тюрьма, они, наверное, изменили бы свой лозунг!

Когда кто-нибудь декламировал Некрасова - вся камера вставала на ноги и хором пела. Чувствовалось, что все живут, что поэзия Некрасова как раз написана и приурочена к настоящему моменту; чувствовалось что-то неожиданное, великое, воодушевляющее и связывающее эту черную массу в одно целое, нераздельное и несокрушимое. Старички-крестьяне от умиления чуть ли не целовали тех, которые удачно декламировали. - "А дивись, барин, а як усе до правди написав", - говорит мне один старик, растроганный "У парадного подъезда".

Если кто-либо падал духом, то стоило кому-нибудь сказать: "не робей, не пропадешь" или "не предавайся особой унылости: случай предвиденный, даже желательный", - как уже грусть и уныние спадали с лица грустившего, а хор голосов подхватывал подбадрывающе:

Иди в огонь за честь отчизны,
За убежденье, за любовь.
Иди и гибни безупречно:
Умрешь не даром... Дело прочно,
Когда под ним струится кровь.

Некрасовым начинался и кончался день. Поэзия Некрасова еще только начинает и бесконечно будет жить в народе... Иван Кирячек".

Среди ответов на анкету, принадлежащих перу фабричных рабочих, первое место должно быть отведено следующему замечательному письму.

Письмо П. А. Калачова.

"Знакомство мое с поэзией Некрасова состоялось пятнадцать лет тому назад. Первые слова из незабвенных его творений я услышал из уст фабричного рабочего, когда сам пятнадцатилетним юношей оказался в этой обстановке. Как сейчас помню, он мне декламировал "Размышления у парадного подъезда". Стихотворение так мне понравилось, вызвало такое волнение в моей душе, что тут же я попросил продиктовать его мне, а через неделю я уже знал его наизусть слово в слово.

Все мои попытки тогда найти собрание сочинений Некрасова оказались тщетными, потому что оно было запрещено в народных библиотеках и только некоторые из его произведений ходили между нами в рукописной форме, со всеми же остальными его произведениями я имел возможность познакомиться несколько лет спустя.

Меня прежде всего поразили в поэзии Некрасова знание им народной души, его глубокая любовь к простому народу и скорбная печаль о его порабощении, а также вера в его духовную мощь. Я с первого же знакомства с его печальной музой проникся святым благоговением к ней и ее автору, и по мере моего знакомства с Некрасовым чувство восхищения и благоговения перед его поэзией все усиливалось, и теперь сочинение Некрасова стало для меня настольной книгой, - больше, стало святой святых моей души. Для меня ваши Пушкины, Лермонтовы, Байроны и т. п. это ничто. Простите, может быть, я преувеличиваю его значение, но я крестьянин и в поэзии Некрасова живет моя душа и все мое существо со всеми верованиями и надеждами.

Неудачных или менее удачных стихотворений я у Некрасова не нахожу, я нахожу все его стихотворения удачными, а некоторые прямо восхитительными, например поэма "Дедушка", "Размышления у парадного подъезда", "Железная дорога", "Мороз, Красный нос", "Орина мать солдатская", "Коробейники", "Русские женщины" и много других, а отдельные строфы прямо алмаз! например, из поэмы "Дедушка": "Зрелище бедствий народных Невыносимо, мой друг, Счастье умов благородных - Видеть довольство вокруг!" или "Непроницаемой ночи Мрак над страной висел, Видел - имеющий очи И за отчизну болел", - что за чудные по красоте и силе слова! Просто не знаешь, чем больше восхищаться, некоторые его вещи я без слез не могу читать, в душе поднимается такое волнение, что спазмы сдавливают горло и тогда закрываешь книгу. Господи! сколько он дал мне счастливых минут в жизни, за это одно будь благословенно имя его, и память о нем горит неугасимым светом в душе моей.

Среди рабочих отношение к Некрасову благоговейное, доходящее до поклонения; я знаю, например, одного рабочего, который чуть не одну треть произведений Некрасова знает наизусть, декламирует, например, такие вещи, как "Дедушка", без запинки. Одно время среди единичных лиц поднимался вопрос о сборе среди крестьян и рабочих всей России средств для постановки Некрасову в одной из средних губерний грандиозного памятника, но для такого дела не нашлось достаточно энергичных и культурных рабочих, чтобы преодолеть препятствия, но я глубоко верю, что это рано или поздно случится.

Способствовать популяризации Некрасова - священная обязанность каждого человека, находящегося на более или менее культурной ступени развития, потому что ни один из русских

поэтов по сущности и характеру своих произведений не стоит так близко к народным массам, как Некрасов, потому что быт народный, страдания народные, его психологию, думы и мысли ни один из поэтов так красочно, правдиво и рельефно не описал, как он. Вот почему я считаю насущной необходимостью знакомство народных масс с произведениями Некрасова.

Единственный путь к этому, по моему мнению, это дешевое издание его сочинений, хотя избранных, в форме небольших брошюр; важно бы, конечно, среди крестьян устроить передвижные библиотеки, но возможно ли это? Брошюры по цене не должны превышать 5 коп. за экземпляр, а еще важнее, если бы нашлись силы и средства для знакомства с поэзией Некрасова, организовать целую группу странствующих лекторов.

Я как умел высказал свой взгляд на творчество Некрасова.

С совершенным почтением. П. Калачов. Г. Иваново-Вознесенск, 4-го мая 1913 г."

Прочие письма рабочих не могут равняться по своей яркости с этим письмом, но высказывают тождественный взгляд на поэзию Некрасова. Таково, например, письмо А. Богатырева:

"В 1906 году мне случайно пришлось увидеть у рабочего нашего (паровозного) цеха книгу Некрасова. Я узнал, что она принадлежит одному из моих знакомых, рабочему Баклушину. Но чтобы получить ее, мне пришлось ожидать очереди не менее месяца, и только тогда я получил первый том, а потом и второй. И, таким образом, эти два тома побывали почти у всех сознательных рабочих нашего цеха, а они составляют большой процент. С какой бережливостью они с ними обращаются, можно судить по тому, что, прошедши множество рук, эти два тома совершенно новые и в чистой обертке поверх корок.

Некоторым рабочим произведения Некрасова так пришлись по душе, что они некоторые стихотворения выучивают наизусть, а Б. знал чуть ли не все и декламировал при первом удобном случае.

Своей простотой, ясностью, верностью правде жизни и картинностью слога Некрасов затрагивает лучшие стороны души и располагает прийти на помощь угнетенному народу.

Знакомство с произведениями Некрасова считаю полезным потому, что читатель привыкает смотреть на жизнь не в розовом свете, а в настоящем и будет готов всегда встретить препятствия лицом к лицу. Аркадий Богатырев. 5 VI 1913. Воткинск. Паровозный цех".

Заслуживает внимания и письмо "Е. Н.":

"Первый раз 17-летним юношей я познакомился с именем Некрасова, когда один подвыпивший тип пел его песню "Укажи мне такую обитель". Не знаю, чувствовал ли что-либо певший или нет, но я переживал многое. Мое казалось, что где-то стонут хуже меня люди, где-то они закованы в цепи, и мне хотелось быть великаном, чтобы их освободить. И с окончательными словами песни "Навеки духовно почил" - мне хочется крикнуть: "Скоро встанет!..".

Я - рабочий, но от имени всей рабочей массы говорить не берусь. Скажу только о себе. Я уважаю больше тех писателей, которые уважают рабочих и плачут об их горе и радуются их радостям. И если только русский рабочий достанет читать сочинения Некрасова, то, наверное, "с упреком мимо не пройдет", а снимет шапку и скажет: "Спи спокойно, дорогой наш печальник; мы воздвигнем тебе памятник, и к нему не зарастет народная наша тропа". Е. Н."

Одним из наиболее замечательных писем, полученных в ответ на анкету, является письмо казака, участника русско-японской войны.

Письмо П. Жвалова.

"С поэзией Некрасова познакомился в 1906 году, в начале которого я вернулся с войны, на которую попал как истый патриот, готовый умереть за веру, царя и отечество. Но судьба, по-видимому, благоволила ко мне, я остался жив, получив в награду знак отличия св. Георгия 4-й ступени и... порок сердца.

На войне же со мной произошла страшная перемена, которую без войны получить мне наверное бы не удалось, потому что из нас, казаков, еще с детства готовится материал для выполнения известных государственных целей. При выработке этого материала, чтобы закрыть истину, стараются внушить веру в такие принципы жизни, что отделаться от них в обыкновенное время редко кому удается. Перемена, о которой я уже упомянул, такая, что все те идеалы, которым я поклонялся, как-то сами собой развенчались, разоблачались, падали в моих глазах.

И вот вследствие падения прежних идеалов во мне появилась какая-то пустота, которую я и старался заполнить, читая все, что только мне попадалось в руки. Попалось мне и собрание сочинений Некрасова.

Впечатление некрасовская поэзия имела на меня громадное, и думалось мне: почему это люди, желающие крестьянину скорее выбраться из темноты к свету и свободе, не догадываются распространять Некрасова, хотя так, как они распространяли подпольные издания, которые существенной пользы принесли мало. Удачными стихотворениями, волнующими при чтении слушателей крестьян, считаю "Размышления у парадного подъезда", "Бабушка Ненила". Это стихотворение вселяет в слушателей враждебное чувство к помещикам, и они, как выражаются, были бы рады, если бы помещиков постигла та же участь, как того барина, который лежал в дубовом гробу. Одним словом, чтобы помещики отдали богу свои господские души... "Коробейники", читая которых видишь, что слушатели понимают все, что говорится в этом стихотворении. И много других, перечислять которые значило бы показать чуть ли не наполовину всего Некрасова, произведения которого для меня <...> имеют цену почти все.

Знакомство широких масс с поэзией Некрасова считаю необходимым, потому что оно дает понять, что всякий человек прежде всего человек и подразделение на классы вредно и ненужно. В некоторых стихотворениях прямо просвечивает ненужность высших классов. Например, "Наш помещик Пантелеев целый век кутил и пил" и т. д. и т. п. Вообще с Некрасовым народ будет знакомиться, в силу распространения грамотности среди крестьян и рабочих, сам. Путями более целесообразными считаю расчлнить произведения некрасовской музыки и распространять их вместе с песенниками, которых много предлагается по всем селам и весям нашего отечества и на которые падка грамотная молодежь обоего пола.

С почтением П. С. Жвалов".

В заключение приведу письмо представителя демократической интеллигенции - кооператора, вышедшего, по-видимому, из рабочей среды.

Письмо В. Егорова.

"С сочинениями Н. А. Некрасова я познакомился мальчиком лет двенадцати. Помню, как в мастерскую принес его сочинения один из моих старших товарищей, уже ходивший на вечерние рабочие курсы, и тогда же он прочитал вслух некоторые его стихотворения. Из них особенно сильное впечатление произвело на меня стихотворение "У парадного подъезда", которое вскоре заучил наизусть и, несмотря на то что с тех пор прошло 13 лет, не забыл его и до сих пор.

Теперь знакомый с великими писаниями Запада и России, все-таки всегда с чувством благоговения, любви перечитываешь "Мороз, Красный нос", и невольно к глазам подходят слезы, спирает дыхание, и закрываешь книгу, чтобы успокоиться. Какие яркие незабываемые картины русской многострадальной деревни, картины, полные слез и горя!

Люблю читать и "Рыцаря на час", полную поэзии картину трагедий многих русских интеллигентов и отчасти самого Н. А. Некрасова.

Некрасов стал уже национальным поэтом, стихотворения его распеваются как песни по всей России, например "Коробочка", "Катерина", "В полном разгаре страда деревенская", "Назови мне такую обитель". Некрасов наиболее близок и понятен народу из всех русских поэтов.

Расскажу о впечатлении, произведенном на крестьян чтением "Мороз, Красный нос".

В феврале месяце нынешнего года, будучи безработным, я поехал с товарищем к его знакомым крестьянам, в глухой угол Тверской губернии, помочь им устроить кредитное товарищество. Пробыли мы там две недели и между кооперативными беседами устраивали литературные чтения. Прочитано было до 30 сочинений лучших писателей, и самое огромное впечатление произвели "Мороз, Красный нос" и "Власть тьмы" Толстого. При чтении "Мороз, Красный нос" женщины чуть не плакали, читался он при туманных картинах.

Сочинения Некрасова должны стать общим достоянием, для этого нужно организовать сбор в фонд для выкупа его сочинений. В. Егоров".

Восторженно-взволнованный тон приведенных (и многих еще не приведенных!) писем, характер и категоричность их суждений о Некрасове, как я выразился выше, окрылили меня, убедив в правильности избранного мною пути. Вот почему свое обращение к демократическому читателю и те ответы, которые я получил на это обращение, я не могу не считать одним из важнейших моментов в моей многолетней некрасововедческой деятельности.

И да не обвинят меня в сентиментальности, если, адресуясь к участникам анкеты, скажу:

Товарищи, откликнитесь! Я знаю, что многих из вас уже нет в живых, ибо в наше боевое время "веи человеком сократишася", как сказал гениальный русский поэт XII в. {Неточная цитата из "Слова о полку Игореве".} Но те, кто уцелел, кто невредимым прошел через горнило мировой войны, революции, разрухи с ее мрачными спутниками - голодом и эпидемиями, пусть подадут голос. Мне так хочется загладить свою давнюю ошибку: дела и обстоятельства помешали ведь мне завязать письменные отношения с отвечавшими на анкету, помешали от души поблагодарить их за их прекрасные письма. Мне так хочется хоть теперь, на старости лет, узнать своих корреспондентов поближе, обменяться с ними письмами и при случае крепко-крепко пожать их руки.

Откликнитесь же, товарищи!

IX

Первая моя поездка в Ярославль в "некрасовские места", относящаяся к лету все того же 1913 г., была довольно успешна по результатам, не говоря уже о том, что она дала ряд прямо-таки незабываемых впечатлений.

Предпринимая эту поездку, я имел в виду произвести ряд "архивных раскопок" в самом Ярославле, затем побывать в Грешневе - на родине {О "родине" в данном случае можно говорить только условно. Некрасов, как известно, родился не в Грешневе, а в м<естечке> Юзвин Каменец-Подольской губернии. Однако в своих автобиографических стихотворениях родиной Некрасов обычно называет именно отцовскую усадьбу в Грешневе. (Примеч. В. Е. Евгеньева-Максимова).} Некрасова и, наконец, завязать знакомство с родственниками Некрасова (братом его Федором и членами его многочисленной семьи), жившими в подгороднем имении Карабиха.

"Архивные раскопки" удалось только наполовину. В общегубернский архив я так и не получил доступа, а там, по моему убеждению, впоследствии подтвердившемуся, хранилось немало документов, характеризующих различные стороны жизни отца и дедов Некрасова, в

частности их имущественное положение. Зато директор Ярославской гимназии Н. А. Веригин, к которому я имел письмо от одного из влиятельных петербургских педагогов, горячо рекомендовавшего ему меня, как "молодого педагога, интересующегося гимназическими годами Н. А. Некрасова", раскрыл передо мной двери гимназического архива. Перебирая пыльные кипы архивных дел, мне посчастливилось найти немалое количество документального материала, проливающего свет на четырехлетнее пребывание Некрасова в гимназии, о котором до сих пор ничего не было известно. Я понимал, что с помощью этих материалов смогу заполнить один из вопиющих пробелов в биографии Некрасова, и чувствовал себя именинником. Хотя денег у меня было маловато, а поездка в Ярославль требовала значительных расходов, тем более что мне сопутствовала жена, я обратился к фотографу и просил его заснять несколько найденных мною документов. Фотограф оказался малый не промах и заломил с меня сумасшедшую цену. Пришлось вместо намеченных 15--20 снимков ограничиться четырьмя. Эти снимки впоследствии получили значение первоисточников, ибо во время белогвардейского мятежа в Ярославле весь гимназический архив погиб в огне.

Итоги моих "раскопок" в архиве гимназии я подвел сначала в газетном "подвале" (Речь, 1913, No 235, 29 августа), а затем более подробно в одной из глав моей второй книги о Некрасове.

Немало интересных впечатлений дала мне и моей жене поездка в Грешнево, которую не лишне будет описать подробно.

Чтобы попасть в Грешнево из Ярославля, надо переправиться на другой берег Волги, проехать через расположенную на той стороне подгороднюю слободу, а оттуда катить по старой костромской дороге, прямым путем до самого Грешнева.

С выездом на костромскую дорогу сразу пахнуло некрасовским духом. Сколько раз, начиная с раннего детства, приходилось проезжать по ней поэту, как хорошо знакомы были ему ее незатейливые пейзажи, какими неизгладимыми чертами запечатлелись в его памяти фигуры сновавших по ней "людей рабочего звания" и "копателей канав" - вологжан, и лудильщиков, и портных, и шерстобоев, и ярославских купцов, любивших под праздник съездить помолиться богу в близлежащий Бабаевский монастырь.

Погруженные в мысли, навеянные дорогой, мы и не заметили, как проехали большую часть пути...

- А вот и церковь в Абакумцеве видать, - раздался вдруг голос ямщика.

В самом деле, в какой-нибудь полуверсте от дороги показалась белая церковь точь-в-точь такая, какой она изображена в незабываемых строфах "Рыцаря на час":

В стороне от больших городов,
Посреди бесконечных лугов,
За селом, на горе невысокой...
Церковь старая чудится мне,
И на белой церковной стене
Отражается крест одинокий...

В ограде абакумцевской церкви покоится прах матери Некрасова, этой "русокудрой и голубоокой красавицы", благотворному влиянию которой поэт, по его собственному сознанию, обязан тем, что "наполнил жизнь борьбою за идеал добра и красоты". Поэтому миновать Абакумцево для почитателей Некрасова невозможно; мы сворачиваем по узкому проселку, и через каких-нибудь десять минут наша тройка останавливается перед чистеньким церковным домиком. Приветливо и радушно встречает нас престарелый священник с. Абакумцева, о. Сергей Филагриевский. Ворота церковной ограды незаперты - дом священника расположен как раз против церкви, - и мы, не теряя времени, принимаемся за осмотр кладбища. Кирпичный, насквозь пропитанный сыростью и затхлостью фамильный склеп Некрасовых, в котором похоронены "секунд-майор Алексей Сергиев Некрасов", первая жена его младшего сына

Федора и двое их малолетних детей, ничего интересного не представляет. Бегло осмотрев его и сделав не вполне благополучно окончившуюся попытку спуститься вниз, к самым гробам, мы спешим к памятнику, воздвигнутому над могилой матери поэта. Далек не роскошен этот памятник, сделанный из белого мрамора, нет в нем ничего показного, кричащего, но чувствуется, что соорудила его любящая рука. Расположенный на солнечной стороне, он в тысячу раз приветливее неуклюжего и мрачного склепа. "И хоть бесчувственному телу равно повсюду истлеть", но едва ли нашелся бы человек, который предпочел "почивать" в склепе, а не под памятником. Становятся понятными чувства поэта, сказавшего:



market.yandex.ru

РЕКЛАМА

Термопаста Arctic MX-4 4 грамма Spatula АСТСР00031В

Я рад, что ты не под семейным сводом
Погребена - там душно, солнца нет...

Образу хрупкой воздушной женщины, далекой "мирского треволнения", "с неземным выраженьем в очах", трудно было бы ассоциироваться с сырым, промозглым кирпичом склепа; в белом же мраморе памятника чувствуется какое-то родственное этому образу начало...

Под впечатлением осмотра кладбища мы стали перелистывать старые метрические книги, в надежде на их пожелтевших листах сыскать кое-какие сведения о грешневской "фее", об этой "изгнаннице, лишенной отчизны", "затворнице, забытой в глуши". Увы, метрические книги сохранили одну только запись: "1841 года. 29 июля умерла от чахотки у майора Алексея Сергеева жена его, Елена Андреева, 45 лет отроду; хоронил иерей Стефан". Вот и все. Но под этими лаконичными словами скрывается целая повесть о загубленной жизни, о душевных и физических страданиях, надломивших "святую женскую душу", бросивших в нестарый еще организм семени неизлечимого недуга. Некоторые страницы из жизни Елены Андреевны ожили под вдохновенным пером ее сына, но в целом летопись ее печальных дней безвозвратно погибла.

"Не поехать ли вам в Грешнево, ведь еще жив кой-кто из крестьян, знавших и Николая Алексеевича и его родителей", - обратился к нам о. Сергей, заметив наше огорчение по поводу почти безрезультатных поисков в метрических книгах.

Через полчаса мы уже в Грешневе. Останавливаемся у крыльца трактира "Раздолье", построенного на месте бывшей усадьбы господ Некрасовых. Как все изменилось здесь за

последние 50 лет! Не верится, что об этой именно усадьбе поэт говорил в своей поэме "Затворница":

Я посетил заброшенный наш сад,
Он все темней, прохладней с каждым годом,
В нем семь ключей сверкают и гремят,
Вершины лип таинственно шумят

и т. д.

Нынешний сад превратился почти в выгон; деревьев сохранилось очень мало - десятка два старых лип, не более, уныло чернеют на всем протяжении огромной, занимающей целых двенадцать десятин, усадьбы; сверкающих и гремящих ключей не осталось и следа - лишь один запущенный колодезь указывает на присутствие подпочвенных вод...

- Мое заведение, - объяснил нам словоохотливый владелец "Раздолья", - построено на том месте, где жили крепостные музыканты Алексея Сергеевича, а назвал я его "Раздольем" потому, что помещение для музыкантов, как рассказывали старые люди, "Раздольем" же называлось. В ту пору, правда, кому раздолье было, а кому мука-мученическая. Вот старый барин Алексей Сергеевич в свое удовольствие пожил, нечего и говорить, а что крестьяне его, да жена, да дети вытерпели, один бог знает.

- А от кого вы слышали рассказы о Некрасове-отце?

- Жил тут у нас в Грешневе один старичок древний, Эраст Максимович Торчин, годов пять как помер. Любил он захаживать в "Раздолье"; ну, за стаканчиком чайку, бывало, разговорится, да про господ и почнет рассказывать. Он ведь всю подноготную про них знал, потому что Алексей Сергеевич старостой его у себя сделал. "Сиж у тебя в "Раздолье" да чаек попиваю, - говаривал мне Торчин, - и заботы мне никакой нету, а в старое время мимо усадьбы мы проходить-то не смели, неровен час - увидит барин да пошлет на конюшню. А на конюшню у него попасть ничего не стоило: шапку ли забудешь снять, наложнице ли барской - три их у него было - чем не угодишь, - сейчас задаст такого, что не дай бог. А хуже всех барыне доставалось. Вот из чего у них ссора постоянная выходила: старший-то сын, Коля, значит, больно любил с крестьянскими ребятишками играть, отец не позволял, а мать покрывала; чуть услышит, что муж с охоты возвращается, бежит в сад к Коле, чтобы не застал его барин врасплох. Наши-то ребятишки сейчас за забор да в деревню, а Колю барыня в дом отведет. Ну, а в барской дворне наушники были, - сейчас же барину и доложат обо всем. Разъярится он и привяжет жену, в наказание, к липе, строго-настрога запретит давать ей пить, а сам опять уедет на охоту. Коле-то жалко матери станет, по его же вине пострадала, придет к ней, к привязанной-то, принесет стакан воды. Немало ему за это от отцовской плетки попадало". Вот что Эраст Максимович мне рассказывал. Правильный был старик, выдумывать бы не стал, - так закончил наш собеседник.

Не хотелось верить справедливости его рассказа; слишком уж оскорбляла чувство гуманности нарисованная им со слов Торчина картина, но, с другой стороны, припоминались больше чем резкие отзывы поэта об отце. "Гнусный сластолюбец", - так характеризовал он его в беседе с Колбасиным. "Ты палача покорством не смягчила", - стоит в автографе стихотворения "Затворница" (в печатном тексте слово "палач" заменено словом "деспот"). А от "гнусного сластолюбца" и "палача" всего можно было ожидать...

Не менее интересную беседу пришлось нам вести с Сергеем Семеновичем Поляниным, уже не с чужих слов, а по личным впечатлениям характеризовавшим отца поэта. Сергей Семенович, которому в то время уже за семьдесят лет было, попал в Грешнево довольно случайно: его отец был не то продан, не то проигран в карты Некрасову помещиком села Петропавловского Шушериним. В 1852 г. девятилетнего Сергея (род. в 1843 г.) взяли в барскую дворню. Сравнительно хорошо грамотный, благодаря частому общению с Николаем Алексеевичем значительно расширивший свой умственный кругозор, Полянин представляет собой далеко не заурядную фигуру в крестьянской среде. Однако самая его интеллигентность послужила ему скорее во вред, чем на пользу: она пробудила в нем чувство собственного

достоинства; условия же, в которых пришлось провести Полянину свою молодость, были таковы, что это чувство постоянно оскорблялось и унижалось самым варварским образом. Отсюда незаживающая рана в душе Полянина, который, несмотря на пятидесятилетнюю давность, без слез не мог вспоминать о тех надругательствах над его личностью, которым он подвергся в доме А. С. Некрасова.

- Нечем мне барина хорошим помянуть, - говорил нам только что исповедавшийся и причастившийся по случаю своей тяжелой болезни Сергей Семенович. - Сколько битья-то этого мне вытерпеть пришлось. У нас на голове не столько волосу, сколько у меня на теле колосу от барских побоев; верите ли, места живого нет! И за что бил-то? Письма мне диктовал, а я еще мальчонком был, грамоте не больно знал, напишу что-нибудь не так - сейчас и примется гвоздить. А то раз собаке его нечаянно ногу отдал, - на конюшню послал; там били меня так, что едва жив поднялся. И считали еще, что со мною барин милостиво обошелся, - нужен ведь я ему был, - другого дворового за ту же вину в солдаты отдал.

Надо было видеть, как все это говорилось: худое болезненное лицо старика мучительно подергивалось, глаза постоянно наполнялись слезами, руки дрожали... Чувствовалось, что неотразимое сознание старых обид властно охватило его душу.

- А как же относился Николай Алексеевич к своему отцу и его жестокому обращению с крестьянами?

При имени Николая Алексеевича Полянин оживился.

- Николай Алексеевич-то... Другого такого не сыщешь; вот человек-то был. Народник был настоящий, а отец, известное дело, крепостник, дикий барин. Ладить они, конечно, между собою не могли. И за мать, и за крестьян Николай Алексеевич на отца обижался. 12 лет, - сороковые это годы были, - в Грешнево не ездил и не писал отцу ничего. Ну, а потом, в 60-х уже, значит, годах, написал ему письмо. Вот уж письмо было, за душу хватало. Сколько лет прошло, а вспомнить его без слез не могу. Да что я? Сам "дикий барин", как прочел, прослезился. Тотчас написал Николаю Алексеевичу, чтобы приезжал к нему. Тот приехал и с тех пор уже часто ездил: поохотиться в родных местах любил. И уж никто его приездам так не радовался, как я: ведь старый барин приставлял меня к нему на все время, пока он в Грешневе, а от него никогда никакой обиды я не знал, одну ласку только видел. А на чай сколько давал - по четыре красненьких за одно лето. И все у нас на селе радовались его приезду: всех ведь он умел обласкать да угостить. Знал он житье-бытье крестьянское и любил простой народ всей душой. Что говорить, народник был. А уж стихи как писал. Нет книжки-то у меня со стихами его, да все же многое до сих пор наизусть помню...

- Ты скажи что-нибудь, что помнишь-то, - подхватила жена Сергея Семеновича, Катерина Эрастовна, дочь того самого Торчина, о котором уже было говорено, и, обращаясь к нам, прибавила:

- Ведь он до страсти любит Николая Алексеича стихи говорить; как станет говорить, так заслушаешься. Ну, Сергей Семенович, начинай.

Лицо старика Полянина приняло благоговейное, почти молитвенное выражение: медленно, немножко нараспев, четко и выразительно он начал:

В счастливой Москве, на Неглинной,
Со львами, с решеткой кругом,
Стоит одиноко старинный,
Гербами украшенный дом и т. д.

После третьей строфы голос чтеца пресекся, в нем явственно зазвучали слезы, видно, одолевали Сергея Семеновича тяжелые воспоминания... Мы сочли неловким продолжать свои расспросы, так как разговор о Некрасове и его отце чересчур уже волновал больного старика, и, от души поблагодарив Полянина, покинули его избу.

Беседы с другими старожилками Грешнева подтвердили верность всего как рассказанного Поляниным, так и переданного со слов Торчина.

Престарелый сын этого последнего, которого мы застали совсем больным, при одном упоминании об А. С. Некрасове вскочил с постели. "Старого-то барина не помнить, благодетеля нашего... В гроб буду ложиться, не забуду, что вытерпеть от него пришлось!".

Очевидно, органически не был способен вызывать хорошее отношение с чьей бы то ни было стороны этот неукротимый крепостник - типичное порождение той эпохи, когда каждый помещик имел право сказать про себя:

Ни в ком противоречия:
Кого хочу - помилую,
Кого хочу - казню.
Закон - мое желание.
Кулак - моя полиция,
Удар искросыпительный,
Удар зубодробительный,
Удар скуловорот.

Все слышанное в Грешневе привело меня к убеждению, что все еще не зажили те глубокие раны, которые нанесли сердцу русского многострадального крестьянина "годы рабства темного". Показывая на свои виски, покрытые редкими волосами, Полянин грустно говорил мне: "За виски меня чаще всего барин драл, долго не зарастали, да вот будто начали зарастать". Виски зарастут, а боль душевная не уймется до самой смерти...

Уезжая из Грешнева и сознавая, что мною опрошены далеко не все крестьяне и крестьянки, помнившие поэта и его родителей, я убедил сына священника Филагриевского, учителя духовного училища в Угличе, продолжить мною начатое. Он обещал исполнить мою просьбу и сдержал свое обещание.

Вот выдержки из его писем ко мне (от 21 августа и 11 сентября 1913 г.).

"Вы просили меня ответить на следующие три вопроса: какие стихи знает Сергей Полянин, 2) что помнит о Некрасовых Татьяна Широкова и 3) когда умерла Аграфена. Постараюсь сообщить Вам все, что мне удалось узнать и по возможности в буквальных выражениях. Начну по порядку.

Полянин, кроме стихотворения, которое читал Вам: 1) "В счастливой Москве на Неглинной", читал еще: 2) "Знахарка в нашем живет околотке, гадает на гуще, на водке", а потом заявил, что знал много стихотворений, но теперь уже позабыл и не может прочитать, а помнит только содержание стихотворений. Например, помнит, что в одном стихотворении Николай Алексеевич "описал дорогу от Ярославля до Грешнево", припоминает также стихотворение о том, "как собака разорвала курицу". В последнем стихотворении Полянин с особенным удовольствием отметил, что "названия собак из точки в точку", т. е. сохранены и подобраны в рифму действительные клички собак. На мой вопрос, откуда Полянин знает эти стихотворения, он ответил, что Николай Алексеевич в Петербурге издавал "Современник" и присылал своему отцу, присылал еще "Северную Пчелу" Греча (Полянин сам назвал и фамилию редактора) и "Гражданин". Это было в ту пору, когда отец и сын находились в ссоре.

Татьяна на мой вопрос, помнит ли она что-нибудь о Некрасове, заявила, что все хорошо помнит. Про Николая Алексеевича выразилась: "хороший барин, добрый; что говорить, как мать, так и он". Когда я спросил об отце, она ироническим тоном заметила: "ну уж барин, какой барин!". Особенно подробно Татьяна вспоминала о поборках с крестьян. Каждая женщина должна была доставить ежегодно: 10 аршин холста, баранок, сколько потребуют (на содержание двора); 2-х петухов; души нет (т. е. земли), так купи да отдай. Если девка долго не вышла замуж, то и с нее брали то же самое. Из огорода овощи не считали; в огороде рубили любые кочны. Жали днем и ночью. Когда Татьяна заговорила о жестоком обращении Алексея

Сергеевича с крестьянами и особенно дворней, Полянин со своей стороны добавил, что "пороли друг друга по очереди, провинился кто-нибудь - мне приказывают его пороть; на другой день он меня порет".

Про Елену Андреевну Татьяна отозвалась: "барыня - цены нет. Когда барин собирался бить дворового, она бросалась к нему на шею и барин отступался".

Татьяна еще очень бодрая старуха 80 лет. Для своих лет, можно сказать, молода. Ходит сгорбившись, но очень мало; обладает вполне твердой и легкой походкой; очень разговорчива и обладает хорошей памятью, о чем можно заключить из того, что она очень легко припоминала различные подробности барской жизни...

Аграфена {Это как раз та Аграфена, которая была главной наложницей Алексея Сергеевича, причем сделалась ею еще при жизни матери поэта. (Примеч. В. Е. Евгеньева-Максимова).} из деревни Гоголино умерла в 1903 году, 85 лет от роду".

В одном из последующих писем, отвечая на вопрос, оказана ли материальная помощь Полянину - старику, очень бедному, к тому же тяжело больному, Филагриевский сообщал, что помощь Полянину оказана, но что здоровье Полянина плоховато.

Прошло несколько дней, и я получил письмо уже от самого Полянина, которое привожу без всяких изменений с соблюдением его орфографии.

"Милостивый благодетель Владислав Евгеньевич.

Благодаря Вашему почину о моей бедной судьбе Константин Федорыч Некрасов {Племянник поэта. (Примеч. В. Е. Евгеньева-Максимова).} определил мне на содержание 30 руб., которую сумму распределил так: на 1-й месяц 12 руб. - а протчи по 6 руб. на 1 месяц. Я получил от отца Сергия 12 руб. При бедности прежде я не мог для болезни ничего приобрести.

Желая лечь в больницу, 12 августа ходил, но меня там не приняли, как и прочих многих, и теперь нахожусь дома. К Константину Федоровичу обратиться не смею, чтобы положить меня бесплатно, за плату не имею средств.

Еще прошу благодетельного покровительства к положению меня в больницу.

С истинным почтением и с упованием на Ваше ко мне усердное внимание

остаюсь Сергей Семенов Полянин".

Я очень взволновался по прочтении этого письма, так как знал наверное, что Сергей Семенович не любил просить за себя и без крайней нужды не стал бы ко мне обращаться. Я тотчас послал на адрес Полянина малую толику денег, а Константина Федоровича в особом письме просил устроить его в больницу.

Увы! уже было поздно. Около середины октября Полянин скончался, а 16 октября его похоронили на том же самом Абакумцевском кладбище, где был погребен и столь немилостивый к нему "барин" <...>

XI

Вернувшись летом 1913 г. из Ярославля в Петербург, я отдался работе над своей новой книгой о Некрасове, об издании которой договорился с Константином Федоровичем. Могу сказать, что никогда я не работал с таким подъемом и увлечением. Эти подъем и увлечение в значительной степени были обусловлены достигнутыми мною успехами па поприще собирания материалов, но не только ими.

На меня не могла не влиять, и не влиять благотворным образом, та общественная атмосфера, которая к этому времени установилась в русской жизни.

Свинцовая реакция, сменившая революционную грозу 1905--1906 гг., явно шла на убыль. Чувствовалось, что нарастал новый революционный шквал. Революционные явления исторического и литературного прошлого, а в том числе и поэзия Некрасова, вызвали повышенный интерес.

Библиографический журнал "Бюллетени литературы и жизни" имел достаточные основания утверждать в том же 1913 г. (№ 6): "Ни одному из наших покойных писателей, - если, конечно, оставить в стороне Толстого, - не уделяется сейчас столько внимания, как Некрасову. Чуть не каждый месяц приносит какие-нибудь новые биографические подробности о нем. Любовно изучаются, обсуждаются и эти и старые материалы, а также характер его творчества, значение его деятельности; выказывают заботу о судьбе оставленного литературного наследия, но особенно заняты разгадкой его личности".

Не случаен, конечно, и тот факт, что именно в эти годы (1912--1913 гг.) Некрасов попал в орбиту внимания нескольких выдающихся представителей русской критики. Некоторым из их печатных высказываний суждено было приобрести значительный общественный резонанс.

В первую голову это относится к ряду фельетонов Корнея Ивановича Чуковского, появившихся в газетах "Речь" и "Русское слово".

В первом из них "Мы и Некрасов" ("Речь", 1912, № 300) Чуковский собрал ряд неопровержимых фактов, свидетельствующих о том, что "молодой литературе" последних лет, т. е. символизму в лице наиболее выдающихся его представителей, принадлежит заслуга сопричисления Некрасова к лику великих русских поэтов.

Во втором фельетоне "Искалеченный Некрасов" ("Речь", 1913, № 34) приводились многочисленные и чрезвычайно яркие доказательства того, как безобразно издаются стихи Некрасова его наследниками.

Наконец, в фельетоне "Русского слова" "Некрасов и карты" (от 19 апреля 1913 г.) говорилось о страстном увлечении Некрасова картами и давался психологический анализ этого увлечения.

Не все в этих фельетонах было мне по душе.

Так, например, я считал излишним в газетных статьях, рассчитанных на массового читателя, печатать длинный, тщательно подобранный перечень тех более чем резких суждений о Некрасове, на которые не скупилась некоторые из его современников. В высшей степени поспешным представлялся мне вывод: "Читатели его боготворили. Но писатели ненавидели". А разве не было читателей, реакционных читателей, которые "ненавидели" Некрасова?! А разве не было писателей, демократических писателей, которые "боготворили" Некрасова?!

Тема фельетона "Некрасов и карты", сложная, мучительная в некоторых отношениях тема, - по самому существу своему казалась не фельетонной.

Но за всем тем чтение фельетонов Чуковского доставило мне большую радость. Чувствовалось, что Некрасовым заинтересовался критик большого дарования, обладающий целым рядом таких качеств, которых, увы! не доставало мне. Разве я смог бы, например, так остро и хлестко пробрать "зарвавшихся осквернителей" - так называл Чуковский своекорыстных, невежественных, подчас прямо-таки циничных издателей стихотворений Некрасова? А пробрать их следовало, ох, как следовало! "Нашего полку прибыло!", - не один раз повторил я после прочтения фельетонов Чуковского.

Вскоре состоялось и наше личное знакомство. Состоялось оно при обстоятельствах несколько необычных. По поводу фельетона Корнея Ивановича "Искалеченный Некрасов" мне

пришлось высказаться в одной редакции, в присутствии нескольких литераторов. "Статья очень хорошая, - заявил я, - жаль только, что в ней допущены три-четыре ошибки".

Слышавший мои слова некий "литературный сплетник" - порода, которая в воде не тонет и в огне не горит, - она не вывелась и по сей час, - тотчас же подбежал к Чуковскому.

"А знаете ли, Корней Иванович, что Евгений про Вашу статью говорит: он в ней тридцать четыре (34!) ошибки насчитал".

Передержка, сделанная сплетником, преследовала определенную цель: навеки посорить Чуковского со мной. К счастью, сплетник на этот раз промахнулся. Корней Иванович сделал как раз то, что и следует делать в подобных случаях. Он написал мне в самом дружеском тоне, прося моих объяснений. Дать объяснения для меня не составило ни малейшего труда. Вместо ссоры завязалась переписка, а затем Корней Иванович приехал ко мне в Царское Село (я проводил тогда лето в Царском), и мы познакомились.

Должен признаться, что за всю свою долгую жизнь я не встречал человека, который умел бы так очаровывать при первой же встрече, как Корней Иванович. Уже впечатление от его внешности было безусловно располагающим в его пользу: мягкие и вкрадчивые движения при огромном росте; внимательный, подчас сосредоточенный, подчас искрящийся лукавством взгляд больших глаз; гибкий и выразительный голос. А сколько и ума и остроумия в его разговоре! Слушаешь Корнея Ивановича и буквально заслушаться не можешь. Если добавить сюда исключительную, прямо-таки бьющую в глаза одаренность его незаурядной натуры, то читатель получит некоторое представление о Чуковском как человеке, но не как писателе.

Писатель Чуковский отличается исключительной разносторонностью: он острый критик, осведомленный историк литературы, текстолог не из последних, а главное на редкость талантливый художник. Печать несомненного художественного дарования лежит не только на его великолепных, в наше время уже ставших классическими, стихах для детей, но и на всем, что он пишет. Его критические статьи принадлежат, собственно говоря, к художественно-повествовательному жанру, и Чуковский имел вполне веские основания свою последнюю книгу о Некрасове назвать "Рассказами о Некрасове".

Я знаю, что подобное смешение двух жанров возмущает некоторых литературоведов староакадемического типа, но мне их точка зрения всегда была чужда. "Какое мне дело до смешения жанров, - так рассуждал и продолжаю рассуждать я (может быть, немножко подилетантски),-- когда получается хорошо!". А у Корнея Ивановича действительно получалось хорошо. Не всегда, разумеется. Иной раз, отдаваясь своему художественному темпераменту, Чуковский хватал через край и в результате вместо прямого зеркала получалось кривое, но кто из нас в большей или в меньшей степени не хватает через край?!

Возвращаясь, однако, к нашей первой встрече. Как зачарованный, слушал я Чуковского, а говорил он, конечно, только о Некрасове. Хотя Корней Иванович во время нашего разговора несколько раз повторил, что его интерес к Некрасову имеет временный характер, что его задача - очень скромная задача: он собирается посвятить Некрасову не более как "психологический этюд", именно "психологический", а не "историко-литературный", однако для меня было ясно, что он в данном случае ошибается.

Во всем, что он говорил о Некрасове, чувствовалась такая осведомленность не только в проблемах психологического порядка, но и в биографических и историко-литературных, что нельзя было не прийти к заключению, что Корней Иванович уже тогда, на заре, так сказать, своей "некрасоведческой деятельности", посвятил изучению Некрасова массу времени, сил и труда. В первое же свидание с Чуковским я проникся уверенностью, - и будущее оправдало ее, - что передо мной писатель, который не изменит Некрасову в течение всей своей жизни, как не изменял и не изменю ему и я.

- Вот у Вас появился конкурент и опасный конкурент, - соболезнующе сказал мне один из моих прикосновенных к литературе приятелей вскоре после появления в печати первых фельетонов Чуковского о Некрасове.

- Если бы Некрасовым, кроме меня, занимался не один Чуковский, но целый десяток критиков и историков литературы, и тогда смешно было бы говорить о конкуренции: Некрасов так мало изучен, что всем работы хватит, - ответил я.

Увы! Этот ответ, правда, с некоторыми ограничениями, я мог бы повторить и теперь, по прошествии почти трех десятков лет. Чуковский и я кое-что сделали для изучения Некрасова; в последние годы появился целый выводок молодых некрасоведов, но работы по Некрасову все еще остается непочатый угол...

Итак, имевшее, а может быть, имеющее хождение в некоторых кругах мнение, что мы с Чуковским - конкуренты, я решительно отвергаю. Это, конечно, не значит, что наше многолетнее знакомство не бывало иной раз омрачено довольно острыми разногласиями. Однажды разыгралось нечто вроде конфликта... Но именно потому, что мы не были конкурентами, и разногласия и даже конфликты удавалось без особого труда ликвидировать.

Скажу с полным сознанием ответственности за свои слова: никто лучше меня не сознает, насколько велики заслуги Корнея Ивановича как некрасововеда. Исходя из этого факта, я не далее как одно из прошлогодних (1939 г.) писем к нему закончил стихами, вычитанными мной в стародавнее время в каком-то журнале (автора не упомянул):

Одному всегда мы
Всей душой служили,
К одному стремились,
За одно боролись,
Только шли мы к цели
Разными путями...
.....
И порой иного
Не хочу я счастья,--
Как к моим стремленьям
Твоего участия.

Зимой, если не ошибаюсь, того же 1913 г. состоялся мой ответный визит Чуковскому, жившему круглый год на даче в Куоккале.

Выехали мы с женой с одним из утренних поездов. Не слишком долгий путь от Петербурга до Куоккалы промелькнул незаметно благодаря вагонной встрече с Леонидом Гроссманом, который тоже ехал к Чуковскому. Гроссман только что вернулся из Парижа, где жил несколько лет, и с увлечением рассказывал о своей парижской жизни и впечатлениях от встреч с выдающимися представителями французской литературной богемы.

Вот и перрон Куоккалы. Выглянув из окошка, я увидел высокую фигуру Корнея Ивановича, пришедшего нас встретить: о дне и часе приезда мы сговорились заранее. Обмен приветствий, быстрые рукопожатия... Стараемся не задерживаться на вокзале, ибо Куоккала встретила нас жестоким морозом... После 10--15 минут езды по пустынным улудам сани останавливаются у дачи Чуковских. Знакомимся с Марьей Борисовной - любезной и приветливой хозяйкой.

День проходит в разговорах не только о Некрасове, - неудобно же Гроссмана угощать разговорами только на некрасовские темы, - но преимущественно о Некрасове.

Корней Иванович показывает мне большие книжные полки, значительную часть которых занимают бесчисленные номера некрасовских журналов. "Кому придет в голову, - мелькает мысль, - перечитывать некрасовские журналы, как не человеку, для которого Некрасов - не временный эпизод, а дело всей жизни"...

Темнеет. Надо подумать о возвращении. Сани поданы. Жена садится с Гроссманом, я - с Корнеем Ивановичем.

Эта короткая поездка почему-то особенно врезалась мне в память.

Опушенные снегом, быстро мелькающие сосны и ели - по бокам; высокое, темное, неподвижное небо - над нами; сидящий рядом Корней Иванович с исключительным подъемом, не взирая на мороз, читает эти поистине бессмертные стихи:

Не заказано ветру свободному
Петь тоскливые песни в лесах,
Не заказаны волку голодному
Заунывные стоны в лесах;
Спокон веку дождем разливаются
Над родной стороной небеса,
Гнутся, стонут, под вьюгой ломаются
Спокон веку родные леса.
Спокон веку работа народная
Под унылую песню кипит,
Вторит ей наша муза свободная,
Вторит ей - или честно молчит...
Примиритесь же с музой моей.
Я не знаю другого напева,
Кто живет без печали и гнева,
Тот не любит отчизны своей...

И выбор стихов, принадлежащих к самым характерным в творчестве поэта, и искреннее чувство, звучащее в голосе чтеца, убеждают меня в том, что Корней Иванович не только глубоко понимает Некрасова, но и очень любит его...

Совсем иное впечатление я вынес от знакомства, правда, очень мимолетного, с другим видным представителем тогдашней литературы, также начавшим уделять внимание Некрасову, - Дмитрием Сергеевичем Мережковским.

Когда осенью 1913 г. в газетах появилось объявление о том, что 15 октября в зале Тенишевского училища Мережковский прочтет публичную лекцию на тему "Тайна Некрасова", многие очень удивились. "С какой это стати, - говорили они, - Мережковский задумал заниматься Некрасовым? Что общего между ним, одним из зачинателей российского "декадansa", и "печальником горя народного"?"

Общего действительно было мало, тем более что к 1913 г. одним из "коньков" Мережковского стала никчемная, если говорить по существу, мысль о необходимости органического слияния двух идей - идеи христианства и идеи революции.

Тем не менее справедливость требует отметить, что еще двенадцать лет тому назад, в начале 90-х годов, в своей книге "О причинах упадка современной русской литературы" {Мережковский Д. С. О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы. СПб., 1893.} Мережковский говорил о Некрасове как о "бессмертном русском поэте, таком же вечном, как Пушкин и Лермонтов", и что мы "имеем право, мы должны гордиться Некрасовым перед Европой".

Я помнил эти суждения Мережковского, а потому с особым интересом шел на его лекцию. Однако содержание ее разочаровало меня.

Не то чтобы она была бесталанна, - я всегда считал автора поэмы об Аввакуме, трилогии "Христос и антихрист", романов об Александре I и декабристах, трагедии "Павел I" не только большим эрудитом, но и даровитым художником, - нет, и задумана и построена она была в достаточной степени интересно. Дело портили крайняя субъективность целого ряда ее

положений, стремление притягивать за волосы, в доказательства этих положений, материал, который нимало в сущности их не подтверждал. А главное - основное положение Мережковского: "Некрасов - единственный, соединивший правду религиозную с правдой политической" - было не только не убедительно, но явным образом фальшиво. Эта не мешало Мережковскому упорно, на всем протяжении лекции к нему возвращаться и повторять его на разные лады.

Крайне неприятное впечатление производила и манера, усвоенная лектором. Он старался не просто говорить, а "вещать", изображая иа себя какого-то "новоявленного пророка". "Прилизанный Христосик",-- случайно донеслась до меня презрительная кличка по его адресу, сорвавшаяся с уст какого-то лохматого студента. Это звучало, конечно, грубовато, но не один лохматый студент находил, что и прическа с пробором и тщательно расчесанная борода имели своей целью напомнить об иконописных изображениях Христа.

По мере того как Мережковский углублял и развивал тему своей лекции, у меня нарастало желание с ним поспорить. В антракте между первым и вторым отделениями я подошел к С. А. Венгеру и просил его познакомить меня с Мережковским. Венгер очень обязательно согласился.

Когда мы вошли в лекторскую комнату, там, кроме Мережковского и Зинаиды Николаевны Гиппиус, никого не было. Гиппиус, кажется, стояла, а Мережковский сидел, развалившись на кресле, в позе человека, отдыхающего после трудов праведных.

Венгер поздоровался с Мережковским и, подводя к нему меня, промолвил: "Вот, Дмитрий Сергеевич, молодой исследователь Некрасова, автор книги об его "Литературных дебютах". Он очень хотел бы с Вами познакомиться".

Мережковский пробормотал что-то невнятное и протянул мне руку... Я пожал ее без особого энтузиазма, потому что очень неприятно был поражен изумительно высокомерной манерой обращения Мережковского. Допустим, что у него не было достаточных оснований хотя бы привстать, здороваясь со мной, человеком молодым и малоизвестным, но я не мог переварить того, как небрежно, не меняя позы, он сунул руку уже "маститому" Семену Афанасьевичу.

- Вашей книги я, к сожалению, не только не читал, но и не видел, - сказал мне Мережковский.

Мне оставалось только промолчать на это не слишком любезное замечание.

Вмешалась Зинаида Николаевна и, очевидно, желая смягчить неприятное впечатление от слов и интонации мужа, начала убеждать последнего, что он не мог не знать и не видеть моей книги, причем точно указала то место в его книжном шкафу, где она стояла.

Говоря это, Зинаида Николаевна упустила из виду, что ее слова, в сущности, уличают Мережковского во лжи: ведь он только что говорил, что не видел книги.

Мережковский понял это и уже с явным неудовольствием сказал:

- Я сказал, что этой книги в глаза не видал.

Мы с Венгеровым молча переглянулись. Сцена, несмотря на всю свою мелочность, становилась тягостной. Но тут раздался звонок, возвещавший о начале лекции.

Маленькая фигурка Мережковского пришла в движение, он поспешно встал и быстрыми шагами покинул лекторскую.

Естественным выводом из содержания лекции Мережковского и из моей встречи с ним (едва ли эту встречу можно назвать знакомством) было убеждение, что для Дмитрия

Сергеевича и лекция о Некрасове и, что гораздо хуже, сам Некрасов только случайные эпизоды на его извилистом, более богатом провалами, чем взлетами, литературно-общественном пути.

Любопытно, что впечатление Чуковского от лекции Мережковского в общем совпало с моим. На другой или на третий день после я получил от него письмо, в котором он, между прочим, писал: "Очень бы мне хотелось повидаться с Вами, побеседовать. Я искал Вас в Тенишевском, чтобы поделиться мнениями о лекции Мережковского. Такое равнодушное пережевывание старых общих мест, уже отвергнутых критикой, такое святое невежество. Он даже Вашей книги не читал, откуда он почерпнул бы больше о христианских настроениях Некрасова. {В "Литературных дебютах" я действительно говорю о "христианских настроениях" Некрасова в связи с анализом некоторых его юношеских стихотворений. (Примеч. В. Е. Евгеньева-Максимова).} И какие вульгарные мысли!".